Ленинградский университет в 20-х годах

И. Грекова

SHOUT
SHARE
IT

- И. Грекова
  -
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

И. Грекова
Ленинградский университет в 20-х годах

Я — по возрасту старше, чем большинство живущих в настоящее время людей. Я родилась в 1907 году и в 1923 году, шестнадцати лет от роду, поступила в Ленинградский (тогда еще Петроградский) Университет. Прошло еще только несколько лет после Революции. Университет — одно из светлейших воспоминаний моей жизни. Все было прекрасно — окружающая нас действительность, новый строй (НЭП), который еще только пробивался сквозь мрак военного коммунизма. Полная наша освобожденность, раскованность. Или это оттого, что над нами властвовала юность? Нет, не думаю. Возможно, сейчас есть люди, вспоминающие с отрадой и страшные года — 37-й, 38-й… Хотя в те времена уже было страшно по-настоящему. Как забыть грозный ночной стук сапогов по лестнице (уж не за нами ли?). Как забыть вздох облегчения, когда шаги проходили мимо? Не за нами, значит, на этот раз? А мы были счастливы, хотя и голодны, и неодеты.

Весь Ленинградский Университет умещался в одном-единственном здании — Петровские 12 коллегий. Здание выходило узким фасадом на Неву, а вглубь Васильевского Острова тянулось длинное-длинное, нескончаемой длины здание. Вдоль всего здания, тянувшегося вдоль острова, лежал длинный, впору ему, непроходимый сад. Входа в этот сад почему-то не было (неясно, как туда проникали садовники, если таковые были, вернее всего, их просто но было). Нечто захламленное, напоминавшее собой плюшкинский сад. Но что сад? Нашим любимым местом в Университете был коридор 2-го этажа. Бесконечной длины коридор, полный людьми, встречами, радостями. Называли мы друг друга только что приобретенным словом «коллега» (какое счастье!).

Это был как бы наш «второй Невский» («И кого только не встретишь на Невском Проспекте?» — спрашивал, кажется, Гоголь), Человек, стоявший в другом конце коридора, казался отсюда букашкой. Вдоль коридора шли, смеясь и радуясь, студенты всех факультетов. Шли, нарядные и напудренные, белея носами, студентки-фоновки («Фоном» тогда назывался филологический факультет). Шли студенты-биологи с какими-то клетками, где, кажется, трепетали птицы. Вдоль стенок коридора

стояли всегда запертые книжные шкафы (не библиотечные, книги из них никому, сколько я понимаю, не выдавались). Они стояли, как бы мигая тусклой кожей старинных переплетов со следами кое-где сохранившейся позолоты. Идя по коридору, мы погружались в затейливую старину.

Коридор был общим для студентов всех факультетов, этакой нескончаемой вольницей. Тот курс — математический, — к которому *я* принадлежала, был по своему составу почти сплошь мужским (из 280 человек было у нас всего пять девушек). Ныне в вузах учатся преимущественно девушки. Более приспособленные к нынешним, скорее формальным, требованиям, они более усердны, усидчивы, легче выучивают (почти наизусть) то, что написано в книгах. Тогда было не так. Математика считалась «сухим» предметом, а девушка, занявшаяся ею, — этаким выродком. Выдающихся женщин-математиков и теперь мало — примерно столько же, сколько женщин-президентов. Причины общеизвестны (дети, их воспитание, хозяйство и др.). А в математики я пошла из-за своего отца. Математик по образованию, он мечтал хоть кого-то из своих детей видеть продолжателем своего дела. Из нас, троих детей, я была, пожалуй, наиболее к этому приспособлена…

Итак, 5 девушек на курс в 280 человек. Естественно, вниманием мы пользовались необычайным. Группа мужчин и одна девушка. «Собачья свадьба» — бурчал недовольно старик-сторож у парадного входа. Так и помню наше человеческое стадо, перебегающее по Дворцовому мосту на другой берег Невы, наши шутки, наши анекдоты, наш непрекращающийся смех. Все почему-то казалось тогда смешным до уморы.

Цвет Зимнего дворца был темно-красный, с прочернью, переходящей в обугленность. Тогда, перед революцией, было модно все казенные здания красить в темно-красный цвет. Таким же, тёмно-красным, с уклоном в угольно-черный, был и наш Университет. А перед зданием, широко распростертая, лежала Нева. Темно-синеватой вижу ее в памяти. Мы полуголодные, а то и вовсе голодные, студенты радовались жизни. НЭП только что вступил в свои права, в стране было много безработных, но заработать себе на жизнь не представляло большого труда. Студенты-мужчины нашего факультета зарабатывали разгрузкой и погрузкой барж на Неве, железнодорожных вагонов (баржи считались выгоднее). А мы, девушки? Кто как. Я, например, давала уроки математики. У меня училась очень молоденькая вдова умершего нэпмана («опять твоя вдова пришла!» — говорили братья). Она совершенно не знала математики, приведение дробей к одному знаменателю было для нее трудно. Но все-таки

надеялась, одолев премудрость, поступить куда-нибудь учиться по-настоящему. «А не примут ли меня к вам на факультет?» — робко спрашивала она. «Пожалуй, пока нет» — отвечала я. Был у меня еще один ученик, невероятного роста, звали его Тиша. С ним я проводила время еще бесплоднее, чем со «вдовой»…

В те времена мы совсем не чувствовали страха. Отсутствие страха — главная черта тех времен. Голод и отсутствие страха.

Были же у вас стипендиаты? — могут меня спросить. Да, были, но в резко ограниченном количестве. Стипендиатами были «комсомольцы сверху», собиравшиеся где-то на третьем этаже и решавшие какие-то мировые вопросы. Их в нашей среде почему-то не было. Их дела были «общественными», нас не касались.

Главным ощущением, которое я вспоминаю, думая о том времени, была гордость. Гордость за то, что у нас все по-новому. Никаких торжеств, никаких «свадеб». Почему надо праздновать, если двое людей решили жить вместе? Это — их личное дело. Гордость была еще и за то, что мы отменили все «буржуазные» предрассудки. Происхождение? — Чепуха! Церковь? — Еще глупее. Как правило, женившиеся не меняли фамилий, в крайнем случае жили на разных квартирах. Личное дело каждого! Я была небольшой девчонкою тогда (две косы по плечам), но железное правило: «не посвящать никого в свою личную жизнь» оставалось для нас <,действительно,> железным, Не стесненные никакими правилами, мы жили сами для себя, никому ни в чем не отдавая отчета. А в смысле нравственности — мы были куда нравственнее, чем современная молодежь. Или мне это сейчас так кажется?

Коридор делился на участки, по факультетам. Нашему принадлежали две крохотные комнатки где-то близко к середине коридора. Была. там девушка-библиотекарша, выдававшая книги, и грандиозный бюст Николая Ивановича Лобачевского, спрятавшего навеки свой крутой подбородок в торчавшие складки жабо. Кстати, готовясь к экзаменам, не принято было спрашивать, на каком языке написана книга, по которой надо было готовиться. Не знаешь языка? Так выучи! Усваивая математику, мы попутно изучали еще и языки. Французский, немецкий, иногда — английский, реже — итальянский. Незнанием языка не было прилично хвастаться, как теперь.

Как нас переводили с курса на курс? Довольно беспощадно. Существовало две программы для каждого курса: «минимум» и «максимум». Студент, сдавший минимум, переводился на следующий курс условно.

Зато не сдавший максимума отчислялся немедленно. Фамилия несдавшего вывешивалась на всеобщее обозрение, после

чего он мог делать все, что угодно.

«Телефонного права» в то время не существовало. Да и были ли у нас телефоны-то? Не припомню.

Вспоминаю курьезную историю о том, как у нас с первого курса на второй был переведен студент, оказавшийся… неграмотным! Его прислали в Ленинград учиться из какого-то дальнего села. Учиться так учиться! Спросил, где тут учатся — ему указали на. здание ЛГУ. Он вошел, каким-то образом привязался к нашему курсу, достал себе тетрадку и карандаш и принялся за занятия. Похож он был на слона или на Илью Муромца. Садился обычно сзади всех, брал карандаш и, глядя на окружающих, что-то в своей тетрадке выписывал. Все кругом пишут — писал и он. Пришла пора переходить ему на второй курс — его перевели «условно», как не сдавшего минимума. И только спустя полгода выяснилось, что он не умеет подписать даже своей фамилии… Дальнейших подробностей его «обучения» в Ленинграде я не знаю… Думая о нем теперь, я вспоминаю только его безграничное, ничем не пробиваемое терпение…

«Учебных планов», как таковых, у нас не было. Профессора читали в разные годы разные курсы, в соответствии с их личным увлечением за последние годы. Так возникали, сменяя друг друга, в нашем профиле, какая-нибудь «Арифметическая теория алгебраических величин», «Теория параллелоэдров», «Геометрия Минковского» и т. п. Против каждого предмета шла одна строка, где рукой профессора выписывался «зачет»; да, именно «зачет» и ничего больше. В ходе моего учения в Университете был ряд попыток ввести «балльные» оценки, вроде «неудовлетворительно», «удовлетворительно» и «весьма удовлетворительно», но мне как-то не повезло: моя дипломная работа по теории чисел попала как-то во впадину между двумя попытками «балльных оценок» и получила титул «удовлетворительно», что многие годы сильно меня смущало (теперь это, естественно, уже позади).

А что это был за аттестат об окончании вуза! Слепо и тускло напечатанный на полудохлом листе ватмана, с ошибками в названиях предметов… Оканчивая Университет, я довольно много времени провела с каким-то свиномордым «проверяющим», который, как и большинство «проверяющих», понятия не имел о том предмете, который «проверял». Я долго и тщетно пыталась втолковать ему, что в таком-то году такой-то предмет звался так-то, он только нюхал воздух и «не доверял».

Кончилось это тем, что я ему сказала: «Буду жаловаться на вашу некомпетентность», после чего он мне быстро и спешно проставил зачеты по всем предметам и сказал: «Иди!» Труднее всего ему далась фамилия «Galois», которую, он несколько раз

переделывал. Недоразумения с моим аттестатом на этом не завершились: несколько лет спустя, проверяя мои документы, другой свиномордый (очень похожий на первого) остановился на строке «Теория, идеалов» и стал убеждать меня, что такой теории («идеализм!») не может быть в советском вузе… Я попыталась дать ему точное математическое определение «идеала» (черт его знает, я уже сейчас его не помню!), но он упорно твердил, — что «Идеал» — слово несоветское, даже антисоветское. Как-то я его уломала, и меня пропустили в заведение, где как раз в это время была явная нехватка кадров…

Тогда я поступала в заведение, носившее загадочное название «Остехбюро». Видимо, «Особое», и видимо, «техническое». Оригинальное место было это Остехбюро.

Работавшие в нем люди не могли между собой общаться, их рассаживали по разным комнатам (каждая — на запоре). Чем я должна буду заниматься? — спросила я у своего начальника? «Придумаете что-нибудь!» — отвечал он. Комнаты были узенькие и тонкие, похожие на кельи. В каждой из них человек мог делать все, что ему приходило в голову; писать, читать, считать; единственной его обязанностью было получить у «проверяющей барышни» в начале рабочего дня бумагу по счету листов и ей же под конец дня сдать бумагу, тоже по счету листов. Главное было в счете листов: как бы не пропал какой-то листочек. Делать мне было решительно нечего. Никакой работы мне мой начальник не поручал, да вряд ли и мог поручить, так как в математике был безграмотен до предела. Скрывая это, он долго делал вид, что понимает, но в один прекрасный день, расчувствовавшись, сообщил мне, что «не его это сучье дело»…

Теперь мне кажется, что наше Остехбюро было каким-то зачатком тех колоний умственного труда (шарашек) которые так художественно расписаны в ряде произведений нашей новой литературы. Я должна была по восемь часов в день отсиживать в моей «келейке», настолько тесной и узенькой, что мимо стола можно было проходить только ужавшись. В общем, это мне надоело, и я решила уйти из своего уединения. В один прекрасный день я явочным порядком оказалась не в своей «одиночке», а в «канцелярии», где продолжала работать над теми же подсчитываемыми листами бумаги. Указаний от своего начальника (кажется, Александра Николаевича) я больше не получала. День я проводила в болтовне с делопроизводителем канцелярии некой Вероникой Евсеевной Вульфович, (впоследствии — Дублицкой) и мы развлекались с нею разговорами на разные темы.

Главное, она была влюблена и всячески мучилась между

настоящим мужем Вульфовичем и будущим — Дублицким. Вероничка — хрупкая, прелестная, — была олицетворением женской слабости, беспомощности, обаяния. В дальнейшем ее судьба сложилась трагически. Она ушла-таки от своего первого мужа и соединила свою судьбу с Дублицким. Вначале все было как будто очень хорошо. Наряжалась, кокетничала, упивалась дорогими нарядами. Ее удачливый супруг успешно провел ледокол «Федор Литке» Северным морским путем. После этого его посадили. Была арестована и Вероничка — ЧСИР (член семьи изменника Родины). Последний раз я ее видела уже в Москве — в одной из московских больниц. Слаба она была настолько, что не могла приподнять руку. Там она рассказала мне (шепотом), что была на «общих работах», целыми днями по колено в грязи, в топи. Ее рассказы об «общих работах» — незабываемы. Чуть ли не накануне своей смерти она подняла теневую свою руку и сказала: «Вот что они со мной сделали!» А я уже и тогда ненавидела смертной ненавистью ту пародию на «социализм», которую нам устроил Сталин…

Однако, вернемся к Университету 20-х годов. В то время в стране, как и полагается после Революции (а нас от нее отделяли 6 лет!), нас «перестраивали», а мы сопротивлялись. Сопротивлялась, как ее полуофициально называли, «белогвардейская профессура». Она свирепо отстаивала право студента ходить только на те лекции, которые он сам для себя выбирал. У нас, например, было «модно» ходить на лекции Ореста Даниловича Хвольсона, одного из известнейших физиков тех времен. Это был низенький старичок, осиянный лысиной. Он читал лекции, сидя в кресле, а его ассистент (кто-то из студентов-физиков) писал за него формулы на огромной, поднимающейся — опускающейся доске. Сам Орест Данилович за все время лекции не менял позы, только направлял свою огромной длины указку на ту или другую формулу.

Лекции его всегда собирали огромную студенческую аудиторию. Каждую из них можно было слушать отдельно, как литературное произведение, безотносительно ко всему курсу. Видимо так, кажется мне и сейчас, надо лекцию строить отдельным самостоятельным литературным произведением, чтобы она минимально цеплялась за все, раньше изложенное.

Большой популярностью в студенческой среде пользовались также лекции Евгения Борисовича Тарле. Он умудрялся так построить каждую свою лекцию, что из нее можно было вывести всевозможные следствия — только думай! Он читал нам истории глубокой давности, но в такой прямой перекличке с настоящим, что это само по себе заслуживало внимания. Думаю, что и он

тогда не был слепым обожателем партии. Но в жизни ему везло… Мы его слушали, ахали и радовались.

Любили студенты-математики и посещать сборища «Вольфилы» («Вольной философской ассоциации»), где известные в то время поэты читали свои стихи и где делались доклады на разные исторические темы. Тогда, мне кажется, мы были ближе к единению точного и гуманитарного образования, чем теперь.

Как уже было сказано, страна только-только еще повернула к НЭПу. Непродолжителен был этот НЭП, промелькнул — и нет его. У нас принято часто вспоминать то время. Логика простая: «Если было возможно тогда, почему невозможно теперь?» Нет, история себя не повторяет. За 72 года нашей полной безнравственности успел сформироваться тип бесстыдного хапуги, нестесненного ну никакой нравственностью. В начале 20-х годов облик бесстыжего «жлоба» еще не приобрел таких страшных черт, которые есть у него теперь. Как мы тогда относились к «правящей верхушке»? Отношение было скорее снисходительное, юмористическое. Страна шла вверх — и, естественно, «мы», созерцавшие все это снизу, не могли не ощущать этого восходящего движения. Сквозь все курьезы, все «новшества».

Наблюдать «эпоху расцвета Нэпа» мне как-то не приходилось.

Помню, что ни малейшей зависти к тем, кто был «обласкан» его прикосновением, у нас не было. Мы входили в эпоху НЭПа из таких дебрей военного коммунизма, что внезапное «воскрешение» страны воспринималось как чудо. Пусть дорого, но можно было купить почти все, что хочешь. Мою скромную зарплату со «вдовой нэпмана» я целиком вносила в семью, главным образом, на конину — прекрасный образ, розовато-голубой кусок мяса с синими прожилками. Голод? Ну, конечно, это был голод, но смягченный, усмиренный прошедшими годами.

Продвижение страны «вверх» воспринималось как абсолютное благо.

Нет, у нас не было ни малейшей зависти к тем, кто жил тогда «лучше» нас. Было страстное желание получить работу — какую-нибудь, сносно оплачиваемую. Сегодняшнее стремление всех накормить, всех обеспечить — было для нас тогда чуждо. Мы предпочитали слегка подголадывать и веселиться. Голодна и весела была вся страна (или мне это сейчас чудится, сквозь тьму веков? Вряд ли.). Голод и хохот. Смеяться было принято надо всем — и над курьезами Университетской жизни, и над полуофициальной кличкой «белогвардейская профессура», и над отъединенностью от нас «верхних» студентов, творивших там свою полупонятную «общественную работу»… Голод и смех.

Что касается арестов, задержаний и преследований — все это

нас не касалось, происходило где-то «вовне»… Разгул террора в 20-е годы был для меня новостью — я уже гораздо позже узнала о нем из <книг> Солженицына…

В общем, наше отношение к «власти» было снисходительно-смешливым: источник курьезов, и только.

Как и любая Революция, наша тоже сопровождалась судорогами «перестроек» (вводили одно, выводили другое, скатывались к третьему), но в математике «делать новое» было куда труднее, чем в гуманитарной науке. Начало курса «Введение в высшую математику», а потом «Анализ 1», «Анализ 2», «Теорию множеств», «Теорию функций действительного переменного» и несколько других курсов, названия которых я уже подзабыла, читал у нас Григорий Михайлович Фихтенгольц. Да будет отсюда, из глубокого будущего, благословенно его имя! Хорошо иметь в юности Учителя — он таким для нас и был. Мы были (не только девочки, но и мальчики) бессовестно в него влюблены.

Возраст его был непонятен, непостижим, да какое значение имеет «возраст», когда речь идет о кумире! Для нас тогда, полуребят, все, что за тридцать, кажется уже бездною старости. Наш кумир вне возраста, вне вопроса о нем.

Во-первых, он необычайно хорош собой. В Университете тех времен раздевалок не было, но он появлялся перед нами всегда во всеоружии (где он только хранил свои одеяния?). Всегда в тщательно отглаженном костюме (синий с мелкой, иголочной полоской). Летом и зимой — всегда в этом костюме (иным я его не вспоминаю). Зимой Университет не топился, а ему — хоть бы что! Он темноволос, бородат, виски белые, концы усов — почти белокурые….

Наш кумир великолепен. Мы ему прощаем великолепие, как тогда прощали бы все.

Велик настолько, что произносит греческие буквы на каком-то не то Эразмовском, не то Эрхлиновском диалекте: вместо «ню» говорит «ни», вместо «мю» — «ми». Подражая ему, мы так же называли греческие буквы (чего мне стоило, много лет спустя, от этого отучиться!).

Но Фихтенгольц в нас не уступал никому.

Никогда не опаздывает, никогда не приходит раньше времени. Спросишь его:

«Можно зайти к Вам на консультацию завтра?» Вынет блокнотик, отметит там тоненьким карандашиком что-то и скажет: «Завтра, между двенадцатью и четвертью первого». И завяжет узел на своем белоснежном платке. Белоснежность этого платка мне питомице малоимущей, часто подголадывающей семьи, кажется сродни белизне облаков на голубом небе. А

иногда, завязав узелок, улыбнется так приветливо, что я след этой улыбки ношу в себе целую неделю… Улыбается так прелестно, что потом долго-долго чувствуешь себя счастливой («а это Фихтен мне улыбнулся!»). Улыбнуться ему в ответ я не смею, только краснею, отчаянно, до слез. Куда потом подевалась моя способность краснеть? Он ко мне по-своему благоволит, даже считает способной, но не верит в мое математическое будущее: слишком легкомысленна. Например, могу два часа подряд заниматься тем, что встряхивать головой и смотреть, как покачиваются, свисая с полей шляпы, шнурки с кисточками. Шляпа (горшком, по тогдашней моде) куплена на честно заработанные деньги (вдова нэпмана!). «Могли бы быть, но не будете математиком», — сказал он мне однажды (и как в воду глядел — не стала![1]).

Единственное, чем я отличалась от других студентов — это владением речью.

Григорий Михайлович, шутя, устраивал с нами «практические занятия» по речи.

Предлагал нам, например: «Изложите содержание такого-то раздела курса за 20 минут». Вынимались часы и он, придирчиво следя за стрелками, отсчитывал 20 минут.

Кое-как мы с этим справлялись. «Ладно. Теперь — тоже самое за 10 минут!»… Вот в этих упражнениях я всегда оказывалась лучше других. «В вас что-то есть, — говорил Григорий Михайлович, — только не возьму в толк, что именно. А, может быть, и вообще ничего нет.» Господи, как я отчаянно краснела! Что бы я не отдала за такую способность сегодня, когда есть за что краснеть! «Не написала письмо, не подписала, молчала, когда все кидались на одного…» Да, Д.С. Лихачев прав: каждому из нас есть за что повиниться. Но только не в одинаковой мере…

В своих полузанятиях Григорий Михайлович играл нами, как кошка — мышью. То полуиздохнет «будущий математик», то лежит, задравши лапки кверху. Написание греческих букв было для большинства (получивших полуобразование в сельских школах) непреодолимой трудностью. Как запомнить, что у буквы «кси» два животика, а у «дзета» — один? «Наши греки» — говорил про них Григорий Михайлович. Впрочем, в разношерстом и многообразном студенческом стаде было трудно выделить будущих настоящих математиков, а ведь такие были. Исидор Натансон, Дмитрий Фаддеев, да еще целый ряд других должны быть благодарны Университету 20-х годов, давшему им хоть и несистематическое, но разнообразное образование. Современному студенчеству я могу поставить в вину их незаинтересованность в предмете обучения, их формализм,

пристрастие к затверженным формулировкам. В нашей — 20-х годов, — системе образования меня поражала свобода. Та, которой так не хватает сегодняшнему студенчеству. Эта студенческая вольность, полученная в самом начале обучения, всегда висела надо мной этакой «приманкой вольности»… Мы были голодны, но вольны в самом широком смысле слова. Психология современного студенчества кажется мне рабской…

Напомню — дело было в начале 20-х годов, в стране недавно произошла Революция, и, несмотря на сопротивление «белогвардейской профессуры» кое-что менялось. С одним из представителей «красной профессуры» нам пришлось встретиться лицом к лицу. Это был «профессор» по фамилии Лейферт. Ему было поручено читать у нас раздел математики, называемый «интегралами».

Естественно, мы все собрались на первую лекцию. Лейферт, среднего роста, полноватый субъект. Явившись первый раз в нашу аудиторию, он сказал: «Довольно, товарищи! Я вам буду читать курс красных интегралов».

В зале засмеялись. «Ничего тут смешного лет! — закричал Лейферт. — Интегралы, как и другие веши, бывают „красные“ и „не-красные“. Я вам буду читать ярко-красные интегралы. Забудьте все, чему вас учили до сих пор. Все вопросы мы будем решать не доказательствами, а голосованием. А единственная книга, которая вам будет нужна — это справочник Хютте[2] для инженеров (была тогда такая универсальная книга, содержавшая все математические формулы, разумеется, без доказательств)». Читая свои лекции, Лейферт не выпускал из рук справочника Хютте. Оттуда он брал формулы. А кроме формул, вставлял еще собственные «философские» размышления, вроде, например, такого:

Единица — это число буржуазное (палец кверху; «один царь, один!»). «Два» объявлялось числом «переходным» («единство противоположностей»), а вот три — это было число «пролетарское», ибо «трое — это уже коллектив!». Выписывал из справочника Хютте то одну формулу, то другую. Выписав, он кричал: «А ну-ка, товарищи, голоснем! Кто за то, что эта формула верна? Поднимите руку! Кто против? Ничтожное меньшинство. Кто воздержался? Еще меньше! Итак, большинством голосов формула утверждена. Запишите ее в своих тетрадях!»

В какой-то (ограниченной) степени он даже был способен менять обозначения. Например, «икс» на «игрек». А вот с греческими буквами у него был конфуз. Он заявлял, что они — признак нашего устаревшего «семинарского» прошлого и нередко пропускал формулу, наполненную греческими буквами (впрочем,

в справочнике Хютте такие встречались нечасто), в операции замены одной буквы на другую он нередко «плавал», приговаривая: «Как выражались в старину, бес попутал!»

Естественно, первая лекция Лейферта была для многих и последней. Ну что бы начальству стоило объявить одновременно с ним обязательность посещений? Нет, ничего такого не было.

Про Лейферта ходили слухи, что когда-то до Революции он был членом Союза Русского народа. Слух мало правдоподобный, имея в виду его уж очень ярко выраженную еврейскую внешность. Хотя, чего не бывает на свете? Ведь спустя несколько лет после Революции он мог объявить себя «профессором»… Наряду с этим ходили слухи о том, что он, взяв в руки приемную комиссию, за какие-то взятки пропускал в Университет любого.

Тогда, как уже говорилось, обязательного посещения лекций не было: группа молодежи на его лекциях все таяла и таяла. Вместо «Товарищи» он обращался к аудитории с кличем: «Мои до сих пор верные друзья!». Жаловался аудитории на «притеснения со стороны начальства», одним словом, плакался. Не помню, через сколько месяцев Лейферта у нас, как теперь говорится, «сняли». Это все были дела «белогвардейской профессуры». А нашему курсу снова дали в руководители Григория Михайловича Фихтенгольца. Какая это была радость, какой восторг! Но времени было потеряно много. Раздел математики «Определенные интегралы» мы кое-как усваивали сами.

Единение с Фихтенгольцем (особенно по контрасту с Лейфертом) было еще теснее, еще плотнее. Мы по нему равнялись, ему подражали во всем — в почерке даже, когда не было другой возможности. Он как-то по-особому писал букву «икс» — этаким бантиком с двумя хвостами. И до сих пор я, встречая кого-то с таким же «иксом», допытываюсь у него: учился ли он у Г. М. или у его учеников?

До сих пор мне неясно, был ли Г. М. по-настоящему крупным ученым. Но что он был педагогом, с ног до головы — это совершенно ясно. Все, что он рассказывал, было прекрасно и непререкаемо. До сих пор, к сожалению, в вузах ученое звание «профессор» слишком уж. автоматически вытекает из ученой степени «доктор наук». А ведь это — совсем разные степени. «Докторство» претендента автоматически влечет за собой и «профессорство». Мне кажется, что эти два типа степеней слишком сегодня между собой связаны. А послушаешь этакого «доктора наук» — прямо уши вянут. Мне кажется, что вузы должны решительнее прибегнуть к различению этих понятий… Написанные Григорием Михайловичем курсы, многократно изданные уже после его смерти — книги по высшей

математике, — прекрасное этому свидетельство.

Прямой противоположностью Григорию Михайловичу была единственная у нас женщина-профессор, Надежда Николаевна Гернет. Вижу ее как сейчас. Внешне она напоминает колокол, но взбесившийся. Широчайшее черное платье до полу, резко расширяющееся книзу, перепачканное белое кружевное жабо на обширной груди, пенсне на широкой цепочке, болтающееся где-то около талии. Сколько ей могло быть лет? Скорее всего, около шестидесяти; мы, молодые тогда, были скорее склонны преувеличивать возраст своих педагогов, переводя их в категорию «стариков». Надежда Николаевна всегда торопится, мчится. Речь ее — тоже торопящаяся, мчащаяся. Она произносит скороговоркой: «да, благодарю вас, пожалуйста, благодарю вас…» и т. д. Ставя студенту зачет, она говорит то же самое, такую же «отповедь благодарностей» получает от нее и студент, не сдавший зачета.

Если на практических занятиях студент не решил задачу, Н.Н. высовывает ему язык, большой, розовый и очень обидный. Если же решил задачу верно, она кричит:

«Умница! Дай, я тебя поцелую!»

Говорит она очень своеобразно: некоторые слова разделяет на две части и между ними вставляет: «что?». Получается нечто вроде: «переведем эту за… что? дачу на математический я… что? зык».

Она читала у нас вариационное исчисление. Катаясь по аудитории, потрясая кулаками, она кричала: «Люди добрые! Будьте Дюбуа-Реймондами!» (Дюбуа-Реймон был знаменитый математик тех или прошедших времен).[3] Почерк у нее — нечто неописуемое.

Точка на доске похожа на детскую голову — размерами и кудлатостью. Часто доходит до конца доски и, не зная, что делать дальше, останавливается. «На ту сторону, на ту!» — кричат ей студенты. Она хохочет и возвращается на уже покинутую сторону. А если писать уже негде, переходит на стенку. К этому времени она с ног до голова обсыпана мелом, седые волосы падают из пучка на спину свернутым жгутиком, пенсне разбито. Она топает ногой и вопит. Изобразив на доске две точки, размером каждая с небольшую дыню, она проводит между ними кучку кривых, толщиной каждая с веревку, бьет по всему этому кулаком и кричит: «Нюхайте, добрые люди!» В ее руке пляшет тряпка для вытирания доски, в нее она ненароком сморкается. Все вместе это похоже на святое безумие дервиша.

Студентов Надежда Николаевна любит самозабвенно. Знает все про каждого: у кого сейчас особенно плохо с деньгам, у кого

родился ребенок, у кого плохо с родителями…

Мы, студенты, любили ее чрезвычайно. Со всеми своими фокусами, с языком на подбородке, с криками и причитаниями она даже чем-то милее нам была излюбленного Григория Михайловича. Каждый мог рассказать ей свое малое, личное неблагополучие, свою надежду, свой неуспех. Как-то раз она встретила меня в коридоре, заплаканную (что-то у меня не ладилось, как теперь говорят, «в личной жизни»!) «Что с вами? — спросила она меня. — Ехала я как-то из Германии, со мной в купе — две женщины. Они на меня посмотрели, я призналась, что стала… математиком! — и вдруг одна говорит: вы еще молоды и неплохо выглядите, что, неужели вы уже отчаялись??» Я охотно призналась ей, что нечто в этом роде со мной происходило. «Нюхайте Нивенгловского!!» сказала она. И мне как-то стало легче.

Наша любовь к ней, отчасти, была поддержана корыстью. Мы очень любили ходить к ней домой. Когда придет студент, она прежде всего усадит его за стол, предложит ему чай с печеньем, пирожными, конфетами, а то и просто со ржаным сухарем. Все это она мечет к нему через стол, приговаривая: «Кушайте, прежде чай, хлеба и зрелищ, благодарю вас, пожалуйста…» Надежда Николаевна — единственный адресат, к которому ходят все студенты — успевающие и неуспевающие…

Хорошо помню первую ее лекцию. Было это наверху, в «восточной аудитории». Она давала список литературы. «Вот, — кричала она, — Андреев, аналитическая геометрия. Глупо, но скучно!» Мы просто валились со стульев от хохота, и она тоже нам не уступала.

«Люди добрые! Нюхайте Нивенгловского!» А мы хохотали. В самый отчаянный момент в дверях появились две сторожихи с метлами: «Нет, у нас в Восточной никогда еще такого не было!» Через минуту мы все, как оглашенные, выскочили из Восточной аудитории и помчались вниз, Надежда Николаевна со своим жабо и пенсне — впереди. «Ничего, кого-то выгоним!!» — кричала она. Иногда все обходилось благополучно, но нередко являлся студент из соседней аудитории и вежливо просил Надежду Николаевну «быть потише»…

Еще одна из достопримечательностей Университета — это был профессор Колосов, Гурий Васильевич. Человек высокого роста, толстый, но какой-то неоформленный; лицо, похожее на розовую картофелину, задумавшуюся: куда ей прорастать? Весь он был испещрен какими-то пятнами, похожими на начинающиеся прыщи. Глаза у него маленькие, снулые, все время мигают и закатываются. Говорят, что, несмотря на все это, Гурий

Васильевич имеет большой успех у барышень (тогда говорили «барышня», а не «девушка»). Говоря, он обильно брызгает слюной во все стороны, почему студенты предпочитают слушать его, рассевшись на задних скамейках. Говорят, он первоклассный ученый, но манера себя вести у него загадочная. Начинает он каждую свою лекцию с плевков в разные стороны, после чего говорит: «Господа…» Кстати, тогда обращения «господа» и «товарищи» часто путались местами. Один профессор начинал каждую свою лекцию так: «Господа… То есть, простите, товарищи!»

Гурий Васильевич рассеян по-профессорски. Говорят, что он, входя в трамвай, оставляет калоши где-то у входа, а то и вообще выходит из трамвая на той же остановке, что и вошел, и долго потом стоит, озирается…

Вид у него, действительно, легендарный. Мы все тогда ходили в Университет, кто в чем попало, но старались соблюдать известную опрятность. Гурий Васильевич этим себя не утруждал. Зимой и летом Г. В. носил одно и то же пальто — черное с прозеленью.

Спереди оно проношено до ваты, и изрядный ее клок торчит вперед, словно оповещая о его шествии. На голове — черная шляпа, рваные поля которой фантастически свисают вбок и вперед. Больше всего эта шляпа напоминает много раз употребленный черпак для мусора.

На груди грязный, многократно перекрученный красный галстук. Идет он по коридору, как будто все время огибает стоящее у него на пути незримое препятствие. Полой пальто он бессознательно вытирает выступающие края книжных шкафов. Говорит, картавя, все время плюясь в разные стороны (не знаешь, как и спрятаться от потоков слюны), но красивыми литературными фразами; впрочем, не запоминает ничего из того, что уже сказал. Я, например, была у него на лекциях три раза; первые две были посвящены началам механики (основные понятия скорости и ускорения), а также анекдоту о том, как мост провалился под действием шедшего по нему в ногу отряда солдат. Все три лекции не отличались друг от друга, только плевки разлетались на второй дальше, чем на первой. Я, разумеется, на его лекции ходить перестала. Говорят, он первоклассный ученый; не имела случая в этом убедиться. Явившись в аудиторию, он начинает, словно бы в забытьи, закрыв глазки и покачиваясь. Сколько народу его слушает — ему все равно. Рассказывают, что однажды он прочел лекцию вообще пустующей аудитории. К Гурию Васильевичу относятся на факультете как-то по-странному бережно. Пусть хоть один, да

такой — осколок военного коммунизма..

Предметы геометрического профиля читал у нас Борис Николаевич Делонэ, француз по происхождению, этакий галантный, воспитанный. Мог, например, уроненный мной карандаш искать четверть часа под столом (а я-то краснела, краснела…), Его специальность: «Геометрическая теория чисел», откуда он читает им самим изобретенный курс «теория параллелоэдров». Какое-то царство игрушек: ромбики, смещенные ромбики, преобразованные ромбики, каждый ромбик покрыт шапочкой, накрывающей его содержимое. Художник! Мы, без особого успеха, пытались в своих тетрадях воспроизвести это царство теней. Но венцом всего был кот! Да-да, огромный котище, преобразующийся по мере преобразования ромбиков. И хвост у него был загнут как-то лихо вбок. Много лет спустя, когда моя дочь поступила в МГУ (на мехмат, механико-математический факультет) я была страшно удивлена, увидев в ее тетради точно такого же кота, какого рисовал нам когда-то Борис Николаевич, и хвост был так же лихо загнут вбок. «Делонэ?» — опросила я.

«Да, он, а что?» — «А я думала, что он давно уже умер…» Легко мы посвящаем в умершие тех, кто много старше нас…

Не так давно я посмотрела в Энциклопедию и узнала, что родился он в 1880 году, значит, читая у нас, был почти мальчишкой!

Вот как трансформируется представление о человеческом возрасте с годами. Когда-то, входя в трамвай, я была подсознательно уверена, что все окружающие — старше меня. А теперь это все сменилось на обратное. Я — старше всех. А было ли когда-нибудь ощущение, что я и окружающие — одного возраста?

Был он тогда, мне помнится, довольно высокого роста, с угольно-загорелой кожей настоящего высокогорного ходока; недаром ему в 1937 году было присвоено звание «заслуженный мастер спорта». Смуглая, навек загорелая высокогорная кожа. Жив ли он сейчас — не знаю («и все они умерли, умерли…») Не должно быть, чтобы он, настолько старше меня, был сейчас жив…

Во времена «конца застоя» фамилия Делонэ прозвучала по-прежнему громко. Один молодой человек (родственник или просто внук нашего Бориса Николаевича) вышел на площадь вместе с другими. Не так-то много было этих «других». Это о них писал Александр Галич: «Можешь выйти на площадь? Смеешь выйти на площадь?». Тогда-то, в 20-х годах ни о каком «выходе на площадь» не могло быть и речи…

Совсем другим человеком был Иван Иванович Ив*а*нов, читавший у нас Аналитическую геометрию. До сих пор в нашей

стране есть Ива́новы и Ивано́вы..

Обладатели фамилии «Ива́нов» словно бы гордятся ударением в своей фамилии, перенесенном откуда-то из давних времен. Иван Иванович Ива́нов был величествен, непохож ни на кого другого, своеобразно-великолепен. Всегда в одном и том же, черном, с подпалинами, пальто. Сзади себя он держал тряпку, огрызки мела с которой начинали его пачкать еще, кажется, до того, как он подходил к доске. Войдя в аудиторию, он никогда и никак не здоровался. Начинал, например, так: «Скаляр АВ со знаком, говорю я, не ноль…»

Так мы его и звали: «Скаляр АВ со знаком…» На лекции его, впрочем, ходили. Кажется мне сейчас или нет, — в них просвечивало какое-то сегодняшнее понимание науки, только облеченное в таинственную форму… На лекции его мы, впрочем, ходили, привлеченные каким-то загадочным научным альтруизмом. Он не выставлялся, не высовывался, плел себе и плел свои «АВ со знаком», Только теперь, вспоминая о нем, я вижу в его несвязных высказываниях нечто новое, светлое, по-настоящему состоятельное…

Совершенно другой человек — Иван Матвеевич Виноградов, будущий академик и мракобес. Тогда, впрочем, от «мракобеса» в нем не было и следа. Про него рассказывали, что он, увлеченный русским национализмом, потом сделался антисемитом. А рассказывали и другое: когда явились к нему подписать письмо против Сахарова, он сказал: «Сахаров? Никогда не слыхал такой фамилии!» и подписать отказался.

Виноградов был дикий человек, необработанный, гениальный. Он никогда и ничем не отличался от большинства наших профессоров, только был к нам, студентам, ближе.

Опять-таки почти ровесник нам по годам, он забавлялся, общаясь с нами.

Наружность небольшого медведя, кое-чему выученного. Очень был силен физически. Но чувствовалось, что — гений. Со студентами держался запанибрата. Все время что-то выдумывал. «Если кто из вас меня поборет — сейчас же „зачет“ в матрикул.»

Но никто не мог его побороть. Он, например, брал за ножку стул с сидящим на нем человеком и поднимал в воздух. Этого никто из нас, студентов, сделать не мог.

На свои лекции (и «семинарии», так тогда назывались сегодняшние «семинары») часто являлся с большим опозданием. Часа на полтора-два. Мы терпеливо его ждали. Коли погода была относительно хороша, он брал нас и выводил на Неву. Тут начиналась потеха: он играл в чехарду сразу с тремя студентами, заставлял их перетягивать канат, боролся с ними (сразу с тремя)

и, в общем, позволял себе самые рискованные штуки, вплоть до обмакивания в Неву побежденного. С нами, девушками, он попросту не общался. Все это называлось «семинарий по теории чисел». Собой он был нехорош, похож на Эйлера.

Одевался небрежно: какая-нибудь рубаха с прорехой на плече, смуглое неправильное лицо, смуглое плечо сквозь прореху… В том, что он — гений, никому из нас сомневаться не приходилось.

Он гениален, но жутко необразован, даже в своей маленькой аналитической теории чисел. Я, например, однажды доказала небольшую теоремку и, робея и краснея, пришла к нему рассказать о ней. «А что? Хорошо!» — сказал он мне. Я нянчилась со своей теоремкой недели две, после чего нашла ее, тщательно сформулированную, в книге Успенского (стандартный учебник по теории чисел).

Дипломную свою работу я писала формально под руководством И.М. Виноградова, но он ни разу ее не просмотрел и не обнаружил в ней ошибку (не криминальную!), которую я нашла самостоятельно год спустя.

И все-таки, я рада, что о ним соприкоснулась. Ощущение гениальности — тоже кое-чего стоит.

Особое положение на факультете занимал Андрей Митрофанович Журавский. Вот уж кто из «белогвардейской профессуры» был самым «белогвардейским». Он и не скрывал своего отношения к происходящему. Все, что его окружало, было как бы скверным сном. Даже НЭП. Его он презирал вместе со всем окружающим. То, что мы, молодые, воспринимали, как подъем, было для него как бы «началом спуска».

На взгляд он был кристаллически-неприступен. Один взгляд полузакрытых глаз был символом недоступности. Читал лекции он по теории вероятностей и математической статистике, возвышаясь над ними (и над нами), как необозримая скала. А мы, любившие его лекции, лежали на райке[4] у его ног. Он вряд ли даже замечал, что мы там лежали и записывали. Высокий, горбоносый, этаким кумиром стоял он над нами. Любопытно, что именно теория вероятностей и математическая статистика стали в дальнейшем моей специальностью. Уходил он из аудитории, ничем непоколебленный, не потеряв ни грамма из своей особенности, такой, каким приходил, таким и уходил.

Одет он был всегда безукоризненно. Одно и то же (на моей памяти) светло-бежевое пальто, на шее — свежайшее кашне, из-под расстегнутого пальто видно рубашку — всегда другую, но в тон. В руке — кусок мела, обернутый бумагой (он словно отгораживался этой бумагой от всего окружающего)… «Только бы

не запачкаться!» — говорила вся его повадка.

Мы, студенты, смотрели на него с каким-то полупрезрительным восхищением. Он, один из первых, начав свой курс с «теория матриц», вел изложение почти в современном духе, на матричном языке. Не все мы понимали, но главное было понятно.

Хорошо помню, как, лежа «на райке», я наблюдала невдалеке от себя его ноги в безукоризненно начищенных ботинках (это мы-то, давно привыкшие носить обувь до «последнего издыхания», с овальными заплатками на подошвах, с кое-как прикрепленными дырками для шнурков!), а над ними — брюки, уходившие под пальто, куда-то в бесконечность. На его лице всегда была печать презрения к нам, лежавшим на «райке».[5] Он восходил на этот «раек» очень осторожно, как бы брезгая наступить хоть на одну из наших тетрадей. Читая лекции, он почти не раскрывал глаз — так было ему противно все окружающее…

На меня он поглядывал как-то без особого отвращения. Помню, как он однажды даже… поздоровался со мной за руку. А я этим хвасталась: «Братцы, мне сегодня Андрей Митрофанович руку пожал»… «Да что вы?» (между нами не было столь обычного сегодня «ты», мы разговаривали друг с другом на «вы», делая исключение только для самых близких друзей).

Интересно, как он все-таки противился самой идее «отъезда». Его приглашали в разные Университеты — он всегда это отвергал. Может быть, презирал их, как и нас, грешных?

И все-таки этот человек сыграл особую роль в моей жизни. Он меня познакомил с моим будущим мужем — потом генералом, а тогда — «трехшпальником», Димитрием Александровичем Вентцелем. Именно «Димитрием», а не «Дмитрием» (букву «и» они берегли, как особое отличие, нечто вроде ударения «Ив*а*нов» в фамилии «Иванов»). Так написано и на его могильной плите: «Димитрий Александрович Вентцель». Умер он более полувека назад, а я до сих пор терплю придирки по поводу моей фамилии. Урожденная я Долгинцева, а меня, вроде в пику моему стремлению к евреям (самые лучшие мои друзья были как раз представители этой национальности!) считают за «Вентцель» по рождению…

Андрей Митрофанович Журавский сошелся со мной поближе уже после того, как я окончила Университет. Даже как будто полушуточно за мной ухаживал. В стране была еще пышная безработица. Очереди к Бирже Труда стояли тогда нескончаемые. А у меня хоть и было какое-то скромное занятие (преподавателя математики в Техникуме), я страстно хотела оттуда вырваться. Очень уж меня допекали мои ученики — продавцы газет и

журналов. И вдруг — Андрей Митрофанович предлагает мне сказочное место! Место вычислителя в Военной Академии. Я тогда просто обмерла. Он сказал мне: «А вашим начальником будет по-прежнему полковник (не знаю, как он теперь называется) некто Димитрий Александрович Вентцель, Не Дмитрий, а Димитрий. Только смотрите, не увлекитесь!» Почти теми же словами он предупредил его: «Посылаю вам девочку, только что кончившую Университет. Девочка ничего, способная. Только смотрите, не увлекитесь!»

Так мы познакомились с моим будущим мужем. А уже спустя 3–4 месяца мы «увлеклись» настолько, что поженились. Димитрий Александрович позвонил Журавскому и попросил у него разрешения зайти к нему с женой. «Отчего нет?» — спросил Журавский.

С каким выражением лица встретил нас Андрей Митрофанович — это читатель может себе представить. А всю мою дальнейшую жизнь с Димитрием Александровичем я когда-нибудь опишу отдельно, если, конечно, хватит времени.

notes

Примечания

1

Вероятно, Елена Сергеевна имеет в виду, что стала доктором технических наук.

http://www.libedu.ru/l_d/hutte/
_spravochnik_inzhenera_tom_2.html

Дюбуа-Реймон (Du Bois-Reymond 1831–1889).

4

Раек — судя по контексту, имеется в виду возвышение у доски, подиум, как теперь говорят.

5

Аудитория была переполнена — поэтому и слушали лекцию полулежа на подиуме.